

Наг Стернин

ВЕДЬМЫ

временник
довременных
времен

16+

Наг Стернин

Ведьмы

«ЛитРес: Самиздат»

1991

Стернин Н.

Ведьмы / Н. Стернин — «ЛитРес: Самиздат», 1991

Понизовье. Ока. Самый север славянства. До Рюрика еще добрая сотня лет. Здесь, вдали от столицы, разыгрывается решающая схватка за власть в княжестве вятичей. Старый князь при смерти, претендентов двое – молодая его жена и племянник, наследник власти по всем родовым законам. Но шатаются родовые законы. Силы равные, победу одержит тот, на чьей стороне будет Понизовское ополчение. Схватка смертельная. За княгиню встает князь языческое капище – Новый Погост во главе с волхвом Бобичем, за княжича - разгромленное, но недобитое родовое – Болотный Погост с ведьмой Потворой и ее внучкой Лелей...

Содержание

Пролог	5
Часть 1. Полюдьё	7
1	7
2	9
3	12
4	15
5	20
6	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Пролог

Мертвые друзья лежали внизу, на дне драккара, черные и распухшие от яда, и было их больше, чем живых. Остальные еще гребли, но кто знает, в чьей крови угнездился смертоносный яд? Река узка. Затоны часты. До выхода в Оку еще плыть и плыть. Чем поможет тебе каленый нож, если получишь стрелу в живот, как Фарлаф?

А начиналось все прекрасно, дело обещало быть простым и легким, добыча же стоила и не такого похода. Богатейший Погост. И волости обширнее не было у вятичей. Угол. Самый край славянства. Слева литва, справа финны, вокруг буреломный дремучий бор, и пути-дороги в том бору только по воде, и воля такая, что даже и не снилась в других в обжитых краях, и все несут жертвы всеблагим богам, и славяне несут, и финны с Лопасни-реки, и литва с Протвы, ах, если бы не Фарлаф, тупой, упрямый, как пень, Фарлаф, которому цены не было в бою, но, по совести сказать, какая он голова для такого дела? Стемид должен был вести корабль, и посылавшим следовало бы это знать.

Чертеж, что начертил на бересте проклятый Колдун, был прост и понятен: вот Ока, вот Нара, вот Болотный Погост, вот Серпейка-река и град славянский, а вот и речки, коими следовало тот град обойти. Хорошие речки. Небольшие, но глубокие. И волоки на тех речках Колдун обещал удобные. Напасть следовало ночью, волхвов перебить, идола Рода четырехликого скинуть в ров, а Погост, разграбив, выжечь дотла, вот и все, вот и следовать бы по сему, да, видите ли, не захотелось Фарлафу ног на болоте мочить, попер по настилу, хотя Колдун и предупредал. Не всех, ох, не всех волхвов перебили на том Погосте.

Его же, Фарлафа, и нашли первые стрелы. Под утро. На волоке. Отошел на пару шагов помочиться и повалился головой в кусты: две стрелы в паху, одна в горле. А вокруг пусто. Никого.

Каждый кустик обшарили, каждую ложбинку. Повернули назад, шага не сделали, сидит стрела в плече у Кнута. Чепуха, вроде бы, царапина, луки у колдунов слабые, вовремя увидеть, так и на щит стрелу можно поймать. Кто же знал, что ядовитые они, те стрелы?

А стрелы летели, летели, и не было им конца, и каждый был многожды попятнан, и каждый измучен прижиганиями, и только Стемид, осторожный, хитрый Стемид до сих пор не получил ни единой царапины. Он же, Стемид, разжег на корабле жаровню. Он же усадил к ней старика Харальда и велел калить нож. Кабы не это, к полудню все были бы мертвецами. Невидимками были славянские колдуны, и все время оказывались впереди. Валили в русло коряги, деревья, драккар застревал на тех затонах, и лишь начинали варяги затоны разбирать, как прилетали с берега стрелы. А вокруг пусто. Хоть бы веточка какая шевельнулась.

Лишь однажды заметили на реке мужика. Стоял по пояс в воде и шарил под берегом руками. Напрасно кричал Стемид, что раколов это и, вообще, не вятич, а литвин, все будто обезумели, выскочили из драккара, как волки. Растерзанный труп выкинули в воду, так ничего и не узнав, разве что злость сорвали, да время потеряли, вот и все. А стрела опять пришла. С другого берега. Чиркнула над плечом у Красавчика Свенельда и разорвала ему ноздрю. А в драккаре один Стемид, а жаровня пуста, потому что вот он, Харальд, со своим ножом, здесь он, на берегу, и нож его от крови того литвина еще не просох. Дернул Свенельд нож из-за голенища, и все, и не зваться ему больше Красавчиком, зваться Свенем Безносым, а лишь отплыли от того места, безо всякой стрелы повалился на дно Грим. Вот тебе и прижигания. Да и то сказать, какое место жечь раскаленным железом сначала, если разом попятнали тебя две стрелы? А впереди был второй волок, и уже начинало темнеть, и каждому мнилось жжение яда в крови.

На последнем затоне Стемид снова придумал хитрость. Велел он самым молодым и быстрым, Эриху и Карлу с Руальдом, взять в каждую руку по щиту и ловить на те щиты стрелы,

пока будут остальные разбирать затон. Ни одна стрела не достигла цели на этот раз. Колдуны, бросив дюжину стрел, стрельбу прекратили. Затон разобрали, и Стемид велел друзьям грести через одного, а оставшимся защищать гребцов от обстрела. Викинги повеселели. А когда Хитроумный велел положить на жаровню ножи мертвецов, рев ликования пронесся над тихой рекой, распугивая птиц и зверье диким эхом. Стрелы и теперь пятнали варягов, но реже, много реже, так что Харальд успевал спокойно прижечь рану, благо ножей каленых теперь под рукою хватало. Впереди, однако, была ночь, и впереди был волок.

Стемид придумал выход и на сей раз. "Кто гонит нас в темень под стрелы? – спросил он, – Найдем на реке голое место и заночуем. Волок пройдем утром, а там уж и Ока".

Утром на волоке опять с легкостью переловили колдовские стрелы, а вот уже когда весла разбирали, чиркнула над бортом последняя и зацепила зазевавшегося Харальда. И упал Харальд лицом в жаровню. Мертвый. Не теряли колдуны ночью времени даром. Новым ядом мазали они теперь свои стрелы, и нес тот яд смерть мгновенную.

Следом пришел черед Хельги Бешеного. Две стрелы из трех, посланных в него, поймал он на щиты, чего ж больше требовать от человека, рук у него сколько? Только вместе, только по три вырывались теперь стрелы из леса, и всякий раз кто-нибудь падал, и все схватили щиты, и каждый вновь стал сам за себя, а колдуны стреляли, стреляли, стреляли, всякий раз по три и очень, очень метко. Три колдуна уцелело при разгроме Погоста.

До Оки, по чертежу берестяному судя, оставалось всего два поворота, но грести стало некому. Четверо живых осталось на драккаре, а берега были круты, высоки были берега и лесисты. Извилисты славянские реки. Хорошо знали тайные звериные тропы оборотни-колдуны. Медленно плыл по реке корабль мертвецов.

"Нет, напролом не пройти", – сказал Стемид. "Силу ломают силой, а хитрость – хитростью", – сказал Стемид. "Мы еще посмотрим, кто кого", – сказал Стемид и направил лодью к большой песчаной отмели. Когда ткнулось судно носом в песок, выпрыгнул он на берег без щита и шелома, замахал руками и заорал во всю мочь своей медной глотки: "Ваша взяла, славянские колдуны. Мы вернем добычу. Мы положим все здесь, на отмели, а взамен вы пропустите нас в Оку. Если обманете, если хоть одна стрела вылетит из леса, мы вернемся, и не видать вам больше серебра, как своих ушей. Все сложим назад, лодью подожжем, и души друзей наших снесут добытое к подножью трона Одина, верховного бога варягов. Если вы согласны, пусть стрела вонзится в песок у моих ног. Я сказал".

Из леса вылетела одинокая стрела и задрожала в песке меж косолапых его ступней. Стемид велел сложить добычу на берег. Но медлили друзья, переглядывались нерешительно. Безносый Свен прогнусил сквозь кровавые тряпки: "А коли обманут? Встретят стрелами за тесниной? Оставят одного сторожить, а остальные вниз? Против течения драккар не поднять".

С презрением посмотрел Стемид на бывшего красавчика и сказал, смеясь: "Ты оставил бы меня одного стеречь такое богатство, Безносый? Никуда им не деться, друг за другом будут следить, торчать будут на голом мысу, а вот мы вернемся, дай только корабль вывести в Оку, и горе им, умирать будут тяжело и долго".

И опять оказался прав Стемид. Ни одна стрела не сорвалась с берегов. А когда вывели корабль в Оку, когда бросили якорь, Стемид с Вермудом и Рулавом ушли в лес.

"Оставайся сторожить, Безносый, – сказал Стемид бывшему красавчику с радостной насмешкой, – на что еще ты сейчас годеи? Поплачь о былой красоте". Сказал и пошел, вкочлачивая в землю кривые ноги, приземистый, мощный, вдвойне страшный медвежьей силой и лисьей хитростью.

Свенельд ждал ушедших до вечера, потом до утра. Но, видимо, слишком долго искушал Хитроумный судьбу. Свенельд поджег драккар и уплыл вверх по реке на берестяном челноке, отчаянно работая веслами.

Часть 1. Полюдье

1

За Бобровой Лужей Леля нырнула в густой малинник, что тянулся чуть ли не до самого Нечистого оврага. Места начинались людные, с торными тропами на Высоцкую гору к Новому Высоцкому Погосту, а с Серпейской стороны и вовсе дорога была прямоезжая.

Леля бежала, как учила ее бабушка: невидимо, неслышимо, незаметно. Ни одна веточка не кольхнулась, не треснул сучок, листик не дрогнул на ее пути. В сосняке у Нечистого наткнулась она на цепь грибников. Совсем рядом прошли Темницкие, а Ждан ихний разве что с ног не сшиб. Прямо в лицо пялился, а не заметил, отвела глаза, хоть и не было на ней невидимковой одежды. Гриб у ноги взял... Ну, бабуля, кто неумеха бестолковая? Кто не может, невидимкой обернувшись, глаза чужаку отвести? Всего и дел, что шишку к грибу кинуть, да самой к сосне приклеиться, замерев.

На другой стороне оврага Леля остановилась, прислушалась. Нет, почудилось, все тихо, ни на Погосте в било не били, ни в граде, да и дымов в небо никто не пускал. Первая она. Лодей княжеских никто пока не видел, а она, Леля, недаром кралась за теми лодьями по берегу, все узрела, все рассмотрела, все разузнала, жалко только вот что, третьего начальника лодейного не сможет бабушке назвать. Не приходил раньше с полюдьем. Новый.

Леля ловко скатилась по песчаному косогору к Серпейке, оглянулась и снова обрадовалась. Ни следочка. Бабушка будет довольна.

Слева, где на прямоезжей дороге перекинут через Серпейку наплавной мост, послышались голоса. Леля поспешно плеснула в разгоревшееся лицо водой и скользнула в заросли ракитника. Прислушалась. Нет, ничего, это не страшно, эти сюда не пойдут, плотничающие это. Бревна, доски везут к Наре. Будут ставить столы, скамьи. Два почестных пира предстоят, встречный и отвальный. Встречным Погост оказывает почести княжым приезжим посланным, отвальным пиром посланные князем слы чествуют Погост. И то сказать, не простые же гости торговые пожаловали. Дружина княжья. В полюдье за данью пришли. Как говорится, Погост собрал, а князь забрал.

Леля только хотела вылезать из ивняка, как снова послышались голоса, развеселые голоса, все порывались запеть "Во саду ли, в огороде", песню новую, красивую, по весне занесенную в град проезжими купцами. И впрямь людные пошли места. Так, пожалуй, насидишься тут в ракитнике незнамо какое время, эти не торопятся, голосают себе.

Слова песни певцы, однако же, знали нетвердо, напев их и вовсе не слушался, не пение, а кошачий весенний мяв. Ну вот, так и есть, градский ворóтник Ослябя с привратничком с Кривым Махоней, сам в-усмерть пьян, привратничек тоже пьян, ай-да бояры, ай-да защитнички градские, солнышко еще первосветное, а они уже вполыск. Успели.

Ослябя разъезжался сапогами по песку, пучил бессмысленные глаза и выводил с нежностью в голосе: "...девица гуляла", а Махоня обнял за шею верзилу – ворóтника, ногами при-топтывал, руками приплескивал у самого у начальственного рыла и вывизгивал невпопад в начальственное же ухо: "Ростом круглоличка-а-а!", придурился, наверное, по обыкновению и мешал, и пьян-то, небось, был не так уж, чтобы очень.

Были бояры пением своим такие увлеченные, что случись сейчас прямо перед ними хазарский разезд, и то бы ничего не заметили. Однако в ивняке сидела Леля до тех пор, пока голоса их не затихли вдали. Береженого и Всеблагие боги берегут. Незачем градским знать, что она за Серпейкою была. А тем паче, что за Нарой. И уж совсем ни к чему, что на Оке. Все сделала, как бабушка велела. И сторожу, что волхвы Новопогостовые на Оку послали, высле-

дила, и в корчагу с брагой той стороже зелья сонного дурманного ухитрилась незамеченной подлить, и полюдь княжеское о четырех лодях уследила, и сама тайными тропами, напрямик, через Бобровую Лужу к граду Серпейскому прибежала, всех встреч ненужных избежав. А волхвы Новопогостовые, на горе Высоцкой сидючи, от сторожи той вестей ждут-пождут, дожждаться не могут. Дров напасли видимо-невидимо, у идолов костры сложили, чтобы дымом волость известить: "Люди добрые, собирайтесь, снаряжайтесь, встречайте полюдь княжеское, окажите почести княжьим слам, что по дань послал!"

Леля сладко вздохнула от избытка чувств и припустилась вверх по течению, прямо по воде, бегом, во всю прыть. Бабушка ждет, извелась поди, не зря же варила она сталь для Деяты и учила его ковать хитромудренный меч: рыбка есть, наживка тоже есть, осталось воду хорошенько взбаламутить, а в мутной водиче что?.. То-то и оно! Ловись, рыбка, большая и маленькая. Спешить надо, спешить, вдруг кто случайный полюдь углядел? Все труды пойдут насмарку.

2

Наблюдать за работой явился сам Облакогонитель Бобич – волхв сварливый, въедливый и недовольный. Каждую доску проверял самолично и придирался безбожно. Мужики из сил выбились. Чуть ли не вся площадь градская вокруг Перунова священного дуба усеяна была стружкой, а ему все негладко да негладко, суковато да зацеписто. А все почему? Еще когда Новый Погост был в Ростовце, вот так же в бабье лето был полудный почестный пир. Пока пили-ели, все было хорошо. В порядке. А как принялись градские умелые мужики в рога дудеть роговую развеселую музыку, загудели смычками по гудкам, как ударили на гусях плясовую, как пошли дружинники-гриды с градскими девками в пляс, кто ж усидит в покое? Сам тиун, главный княжеский судья, вместе с емцем-даневзимателем разгорелись сердцем. Стали они в ладошки плескать да на скамейке скакать-подпрыгивать. Ну и засадил, как рассказывают, кто-то из них себе в мягкое место щепу...

Столы для младших дружинников-гридей и родовой старшины были уже врыты на Нарском берегу под градской горой. Да и верхним почестным местам, по совести говоря, давно уже полагалось бы утвердиться на Веселом острове. Но Бобич, даром что каждая доска была выглажена стругами и скобелями со всех сторон, все недовольничал, все придирался, а время шло, а дело не двигалось. Маялись мужики.

Потвора появилась внезапно. Вот только что пуста была площадь, глядь, стоит старушечка, подбородок на клюку свою двурогую положив. Мужики покосились на Бобича, но дружно встали, поклонились бабке в пояс. Потвора в ответ ласково покивала головой:

– Благослови труд ваш мать Мокошь, всеблагая богиня животворная.

– Что лезешь к мужам со своею с бабьей богинею, – гневно вскинулся Облакогонитель. – И повыше твоего есть над их трудом благословение. Под Погостом живут, под Перуном. Иди-себе по своим делам, не мешайся под ногами, не путайся.

От бабки волхв отвернулся и с остервенением накинулся на ближнего мужика. Бабка явственно хмыкнула. Мужики отмалчивались. Бобич снова повернулся к Потворе, глядел на нее с надменностью, как на муху какую надоедную.

– Ну и что ты тут встала? Уж и слушать не желаешь третьего на Погосте волхва, и слово его для тебя – тьфу, сор, небылица ненадобная?

Потвора, однако же, волхвом пренебрегла, не отвечала ему и даже на него не глядела, а глядела она на воробьев, что терзали под священным дубом конское яблоко. Бобич раздулся, засверкал глазами, уставил на бабку длинный костистый палец.

– Давно зуб на тебя точу. Ох, Потвора, волхва самозваная, дожدهшься у меня. Самомышлением предерзостным живешь, лечебное и иное всякое волхвество на себя берешь, требы творишь и, вымолвить жутко, жертвы от народа принимаешь помимо Погоста. Голов у тебя сколько?

Потвора глянула на него с усмешечкой, неуважительно глянула, сказала лицемерно:

– Что делать, милый? Не живут ноне волхвы на старом на родовом Погосте, скачут блохами с места на место, а народ в него лишь, в старый болотный Погост родовой, и верит. Приходите, обживайте его, а то я уж и с ног сбилась. Все одна да одна.

– Тебе ли входить в рассуждение об таких умственных божественных делах бабьим своим недалеким умишком? – возгласил Облакогонитель презрительно. – Тебе ли решать?

– Конечно, милый, – открыто потешалась волхва, – конечно, не нам с тобою. Это Всеблагие сами давно решили. Недаром идол Рода четырехликий не захотел по людскому произволу в ином месте стоять и исчез.

– Что ты все вякаешь, что болтаешь безумства, – торопливо сказал Облакогонитель, обращаясь скорее к настороженным мужикам, чем к волхве, – сразу видно, что язык без костей, и сама без понятия. Всем известно, что сгорел идол при варяжем налете, вот и все.

– Сгорел бы, угли на капище были бы, зола. А то, милый, яма была, а углей не было, нет. Вот и княжи волхвы, что на пожарище чуть ли не тотчас явились... совсем случайно, ты же понимаешь, оказались тут поблизости и все сперва по рвам почему-то елозили... так вот и они, помнится мне, вокруг той ямы стояли и пялились, в затылках чеша.

– А почему бы это только бабка с матерью твои да ты, поганка малолетняя с ними вкуче спаслись тогда от варягов-находников? – сказал Бобич, поглядывая на мужиков со значением. – Подозрительно...

– Заступничеством всеблагого Чура Оберегателя, – сказала Потвора строго. – И бабка, и мать шагу не ступали, чтобы не зачураться, "Чур меня" не сказать, и меня к тому приучили, чтобы Чура-защитника чтить, и Мокошь всеблагою матушку-заступницу, влаги и жизни и самих богов матерь, чтить тоже.

– Ага, ага, – злорадно завопил Облакогонитель, – стало быть, подлого народа земные низшие боги вас спасли, а которые князьего Перуна чтят, или там, Стрибога с Велесом, так тех верховные небожители бросают на произвол? Против небожителей воруешь?

– Разве? – удивилась Потвора. – Это все ты говоришь, не я. Я и имен небожителей не упоминала.

Бобич в бессилии смолк, злобно уставился в спину проклятой волхвицы, а мужики глядели на спорщиков во все глаза, и молчали мужики, вот ведь в чем была главная-то закавыка, в ведьму предрезостную каменьев никто не швырял и взащей ее от священного от мужского Перунова дуба гнать не собирался, а она все разглядывала воробьев, будто Облакогонитель был ей тех вздорных мелких пичуг ничтожней. Бобич остервенел.

– Я т-тебя! – вывизгнул он, брызжа слюной. – Т-ты у меня!..

– Тихо! – взревела вдруг бабка медведем шатуном. Бобич поперхнулся от изумления, воробьи прыснули врассыпную, а на дуб, на нижний сук его, к коему привязано было вечерное било, пал огромный черный ворон. Склонивши голову на бок, скакнул он по тому суку вправо, скакнул влево и, не найдя подношений жертвенных, сердито каркнул.

Бабка глядела на ворона пристально. Ворон нахохлился и тоже скосил на бабку глаз. Бабка сделала осторожный шаг вперед и медленно вздела кверху руки, сама сделавшись похожей на диковинную птицу. Ворон беззвучно раскрыл клюв и тоже растопырил крылья. Мужики оробели, пороняли топоры и скобели, медленно, как замороженные, повалились на колени. На их глазах творилась Великая Кобь, гаданье птичье, волхование, что посылно только самому Колдуну и ближним волхвам его, но творила то волхование ведьма с заброшенного родового Погоста, а третий по значению волхв Новопогостовый, Облакогонитель, хозяин дождя и снега, владыка погоды, стоял с растерянной рожей дурак-дураком, и рот его был раскрыт до пределов возможного.

Бабка скривилась на бок, повела широкими рукавами как крыльями и поплыла-завертелась на месте. Ворон на суку тоже закружился, растопырив перья и вытянув шею. Бабка что-то бормотала, вскрикивая придушенным страшным голосом, и ворон, вторя, сдавленно каркал в лад с движениями бабкиной рогатой клюки. Бабка вертелась все быстрее и быстрее, на губах ее появилась пена. Мужики, осоловевши лицами, сперва негромко, но с каждым бабкиным оборотом все сильнее и сильнее плескали в ладоши. Но тут опомнился Облакогонитель.

– Ты это что? – завизжал он дурным голосом, – ты что это?!

Потвора, будто споткнувшись, повисла на своей клюке. Мужики разом опомнились, втянули головы в плечи и принялись, как слепые, ушаривать на земле свои топоры. И даже ворон сорвался с места, низко промчался над шарахнувшимся волхвом и каркнул обиженно и сердито.

Потвора выпрямилась на дрожащих ногах, утерла рукавом потное лицо, утвердилась с помощью клюки и выжидательно уставилась на волхва.

– Ну, и что же ты стоишь? – сказала она с непонятым ожиданием и почему-то весело поглядела ему на плечо. – Что людей не созываешь?

– Не нукай, не запрягла! – крикнул Бобич и скосил глаза на мужиков. Мужики тоже глядели ему на плечо, но с ужасом. Бобич скосился на плечо. На шитом белом оплечье, прямо на громовых Перуновых знаках старшего волхва, красовалось преогромное пятно птичьего помета.

– Ты это нарочно, – заорал он, вне себя, – ну, погоди ужо!

Бабка вздохнула, повернулась, заковыляла к дубу. Сделав несколько шагов, она остановилась, развела руками и сказала, головы не повернув, со всею возможной укоризною:

– При чем я? Я, что ли, птицу вещую напугала и прогнала, выкобенивание прервав?

Облакогонитель растерялся, стоял столб-столбом, рожа у него цветом стала свекольная, глаза бегали. Меж тем Потвора принялась мерно колотить в било. Било загудело, гулкий рокот его заметался меж градскими стенами и, многократно усилиясь, выплеснулся через те стены наружу. Над градом, над Серпейкой и Нарой, над окрестными лесами, над Высоцким Погостом, аж до самой до Бобровой Лужи поплыл набат.

– Костры зажигайте, полюдьё идет, – сказала бабка сбежавшемуся народу, – идет уже по Наре, четырьмя лодьями. Дружину ведет Бус. В тиунах идет Олтух. А вот кто в емцах-даневзымателях, люди добрые, того не вем... – Потвора покосилась на Облакогонителя, вздохнула и добавила, разведя руками, – виновата, Коби не окончила, вот ведь незадача какая.

Бобич сорвался с места, побежал к градским воротам.

– Куда, куда, стой! – кричала вслед Потвора, – стой, тебе говорят, не надобно бежать на Погост, оттуда уж верхового сюда погнажи. На остров шли людей. Столы не готовы, скамьи, бесчестье творится княжьим послам, за такое по головке не гладят.

Бобич завертелся на месте, остановился, ошеломленно поглядел на откровенно насмеивающуюся Потвору, на градских, глядевших безо всякой почтительности, и сказал злобно:

– Чего рты раскрыли, раз-зявы, раскорячились тут. А ну, живо на берег, одна нога здесь, другая там!

Потвора, опершись на внучкино плечо – эта-то откуда тут взялась? – медленно шла в толпе меж расступавшимися людьми. Девчонка обеими руками вцепилась в бабкин локоть и смотрела прямо перед собой неподвижными огромными глазами.

– Ступайте, милые, ступайте, готовьтесь к встрече, говорила Потвора тихо и ласково. – Ступайте, лодьи близехонько уже. Встречайте Буса. Бус честь любит.

По дороге от Нового Погоста наметом пылил верховой.

3

Лодьи медленно подплывали к берегу. Все четыре шли в ряд, не под парусом шли, на веслах. Ладные лодьи. Бока крутые, выведены по-туриному. На лебединых носах морды Змея-Ящера, владыки мира подземного и подводного, для нечисть с пути разгонять. Красавицы.

Народу на берегу тьма. Ну, может, и не сорок сороков, но все равно много. И градские, и Селецкие, и Заборские, и с селищ-что-на-Речме, и с Каширки-реки, вся волость тут, не только вятичи. Дальние-то как узнали? Не с Новопогостового же дыму? Видно, тоже сторожили: тут и голядь литовская с Протвы, и финны-мурома с Лопасни-реки тоже тут. А Темницкие как были с грибами, так с грибами и прискакали.

Все столпились на градском берегу у впадения Серпейки в Нару. На левом только волхвы и родовая старшина. Да еще мальчишки на деревьях над обрывом для лучше видеть. Леля тоже хотела туда, на дерево, но бабушка не позволила, заругалась, ты что это, мол, одумала, в воду поглядишь, кобылица, грудь уже как у взрослой девушки, а тебе бы все по деревьям скакать, голым задом сверкаючи. Но Леля все равно исхитрилась, пролезла вперед, к самой воде, турнула темницкого Ждана с причального камня. На камне и утвердилась.

Лодьи разом ткнулись в прибрежный песок. Выскочили гриди, единым махом вымахнули суда носами на сушу, спустили сходни и встали у кораблей, суровые, молчаливые, оружные.

С первой лодьи медленно спустились четыре человека. Народ удивился: что ж так? Главный данщик, емец – раз, воевода – два, судья княжий, тиун на случай, если споры разбирать, – три. Что ж четвертый? Все смотрели, кто выйдет вперед.

Вышел самый молодой, почти отрок, одет богато, при мече. Голова у отрока была брита, с макушки на плечо свисала длинная Перунова прядь. Темницкий Дедеята, в старшину не входящий как данник, но человек в Волости и на Погосте уважаемый за разум и обходительность, нагнулся к уху Потворы:

– Скажи, бабушка, отчего не емец впереди? Отрок – кто таков? Я в смущении: плащ красный, сапоги красные...

– Брячеслав-княжич, – ответила Потвора, значительно подняв палец.

– Ага... Ну да, конечно, кому ж еще во всем красном-то... Князь, стало быть, послал. Как там Погост, радивы ли волхвы, как требы творятся, как дани хранятся. Ты волхва мудрая, поведай мне, сделай милость, отчего Погост из Ростовца турнули к нам сюда, неужто из-за щепы в заду, не верится как-то.

Окружающие придвинулись поближе, прислушивались к разговору внимательно.

– Роду четырехликому требы на Новом Погосте уже сорок лет как не служатся, жертвы не приносятся, сам посуди, с чего бы ему, Новому Погосту, цвести? – рассудительно пояснила Потвора. Дедеята повел округ осторожными глазами и спросил тихонько:

– А правда ли, что выкобенивалась ты сегодня у Святого дуба о полюдьё гадая, и кобение то волхвобное до конца не довела?

Потвора искоса поглядела на Дедеяту. Глаза у Дедеяты были хитрые и веселые. Потвора улыбнулась.

– Осердилась на что-то вещая птица. Недовольная улетела.

Обряд встречи шел своим чередом. Видно было плохо, слышно и того хуже, однако с берега никто не уходил, узреть такой важности по-зорище и можно было лишь раз в году.

Вот и взирали, как осторожно, под локотки вывели престарелого Колдуна, как вздел он вверх дрожащие руки, как тотчас отхлынули в стороны младшие волхвы-хранильники, образовали большой круг, внутри которого ближе к обрыву встали старшие волхвы, а с речной стороны княжие послы. В середине того круга подготовлены были заранее два больших кострища для Чистых огней. Круг этот назывался "коло", и был он отражением обрядным коловращения

ясного солнышка, светлого лика Дажьбожьего, когда держит он путь по небесной околице в колеснице своей огненной.

Повинуясь движениям рук Колдуновых, вышел к кострищам волхв Сварожник, владыка огня и волхвобной кузнечной хитрости, со своими помощниками. Им предстояло вытереть из дерева Чистый Живой Огонь.

Сварожник опустил меж кострищами на землю и бережно поднял кверху в сложенных лодочкой ладонях матицу, – отполированную от частого употребления чурочку с глубоким лоном – влагалищем для Перунова песта. Помощники, с поднятыми к небесам пестом и крутильным лучиком-смычком, закружились около него, обозначая опускание сих святых даров Перуновых с небес в руки славянских волхвов. Сварожник вставил пест в матицу, захватил конец его тетивой смычка. Помощники встали рядом, держа наготове просмоленные берестяные факелы.

Снова взмахнул руками Колдун. Будто ветром подхваченные, заскользили коловоротно хранильники в торжественном танце, распевая колядки – величальные напевы в честь Дажьбога, предка славянского, бога солнца и света чистого небесного белого, трением колес колесницы солнечной о твердь небесную рожденного. Стремительно засмыкали лучиком Сварожник с помощниками. И вот пыхнул над лоном матицы дымок, возвестил о рождении во чреве чурочки, что есть отражение обрядное Матери сырой земли, Чистого Живого Огня. Под гром барабанный, под сладкосогласное роговое пение, разом, споро, дружно разгорелись очистительные костры. И значит, не было никакого злого умысла ни с какой стороны, ни у приезжих, ни у встречающих. А следили за обрядом придирчиво, всякое бывало, знаете ли. Случалось, замыслив недоброе и огонь подменяли, чтобы обряд силы очистительной не имел, чтобы не мстили за предательство Желя с Карою, свирепые богини мщения славянские. А то они, мстительницы, такие: привяжутся, покою не будет до свершения мести. Жгучими муками жалости жжет душу Желя. Лютую месть придумывает Кара, чтобы покарать, чтобы обрушиться на голову предателя. Вот и зрели за обрядами всем миром и каждый в отдельности, недаром те обряды назывались по-славянски по-зорищами.

Коло распалось. Ушел из круга Сварожник, бережно припрятав до следующего раза драгоценную матицу с ее лоном-влагалищем, кое есть отражение женской сути матери сырой Земли священное, и пест Перунов, отражение небесное мужского голя, который голя есть самая суть мужская, что и делает здесь, на земле мужчину мужчиною. Хранильники передали Колдуну на вышитом оберегами полотенце резную в виде солнышка деревянную тарель с хлебным караваем нового урожая и солонку с солью. Справа пристроился Обережник, второй по значению волхв Погоста, волхв-лекарь, волхв-защитник от самой от костлявой старухи с косой, от Мораны, черной богини и служанок ее Мар, знаток и владыка амулетов, оберегов, заговоров и иных охранительных священных слов. В руках он держал глиняный горшок с кашей и большой деревянной ложкой навтык. Слева, откинувшись назад под тяжестью енды со ставленным хмельным медом, тяжело подсеменял Облакогонитель. Да и то сказать, сама енда серебряная, и меду в ней – семерым упиться до беспамятства.

– На старом-то болотном Погосте, говорят, гостей только на серебре встречали, – сказал Дедята. – Правда это, а, Потвора? Вроде бы, блюдо под хлеб два хранильника несли. И корчагу с кашей тоже два. И енда была, не в пример этой, в виде диковинной птицы лебеди, сверху серебряная, внутри золотая, и клюв у той у лебеди тоже был золот, и глаза из алого камня лала, и ковши при той енде были в виде малых лебедят, висели на ней, за бока клювами цеплялись, и в бока же лапками упирались. Ты маленькая была, помнишь, нет ли?

– Много чего было на родовом Старом Погосте. Великий был Погост. Чтили его, уважали, доверялись ему все окрестные племена, а не боялись, как сейчас Погоста княжьего Нового боятся, и через то несли от всего сердца щедрые дары. Да что соседи! И хвалынские, и хазарские, и болгарские, и даже царьградские гости торговые приходили и находили в нем защиту

и приют для обоюдно многоприбыльной торговли со всеми окрестными племенами. Справедливый был Погост, никому не прислуживался, а служил только роду.

Хранильники запели в рога. Тотчас волхвы и присланные князем слы во главе с отроком тронулись с места, пошли навстречу друг другу и встали меж очистительных костров, двух шагов друг до друга не дойдя. Волхвы разом согнулись в поясном поклоне. Отрок в ответ склонил голову, спутники его, слы княжие, вернули волхвам поклон поясной. Отрок принял у Колдуна каравай, разломил на части, посыпал солью, потом бросил ломоть в костер по правую руку от себя. Подскочивший хранильник принял блюдо и застыл, согнув спину. Колдун взял у Обережника горшок и с поклоном же протянул отроку. Отрок зачерпнул каши и кинул в левый костер, и снова, как из-под земли, возник хранильник, чтобы подхватить из его рук священный сосуд. Колдун принял у Облакогонителя ендову. И вовремя. Еще мгновенье промедли – свалился бы Бобич на землю вместе с медом.

– Не стоять человеку прямо, коли в нем хребта нет, – шепнул Дедята Потворе. – Чужая сила ему не опора, а, не распрямившись, как поклонись?

Потвора без улыбки покачала головой. Дедята покраснел и нахмурился.

– Ты это зря, – сказал он с упреком. – Не о телесной хилости речь. Я о том, что ежели перед начальствующими на брюхе елозить... Чтобы уважение оказать, поклониться надо, а на брюхе лежа – как поклон отдать? Как, ниц валяючись, чужой поклон примешь?

– Это ты не сможешь принять, – ответила Потвора сквозь зубы. – Я не смогу. А эти и с брюха примут, чужой-то, даже если им тебя для этого придется лицом в грязь втолочь по самую макушку.

А на том берегу Колдун уже плескал медом меж костров. Дело шло к концу. Хранильники споро обежали участников обряда, обнося их кашей, хлебом и медом. Какое-то время все сосредоточенно жевали, потом Колдун, вздевши руки к небесам, возгласил славу всеблагим, за дальностью и слабостью голоса по-зорищем не услышанную, и тут же снова запели рога.

Волхвы смешались с посольскими слами. Колдун, опираясь на высокий двурогий посох, повел отрока к Погосту. А впереди, с боков и позади посольства, оттеснив хранильников, шагали невесть откуда взявшиеся дружиннички, ребята хмурые, ражие и при всяческом железе: обряд обрядом, а осторожность не помешает. Случалось всякое.

– Ну, все, дань считать пошли, – сказал Дедята. – Закрома смотреть, погреба. Сегодня смотрины, счет дани и встречный почестный пир. Завтра дань грузить, и опять же пир, отвальный. Послезавтра отплытие.

Берега опустели. Только у лодей пересмеивались и перемигивались с девками посольские гриди, да суетились у святых костров хранильники, раздавали угли и головешки окрестным хозяйкам, совавшим со всех сторон горшки с сухой лучиной, мхом и трутным грибом. От Живого Огня головешки. Этот огонь благой, ни пожара от него не приемлют добрые люди, ни иного зла, и зола тех костров от всех болезней.

4

Погост расстарался. Волхвы с ног сбились, обустроивая почестный пир. Умысел дальний: сбор дани дело не безвыгодное, и не потому оно не безвыгодное, что богатство к рукам сборщика липнет, не пойдут никогда волхвы на воровство, какое воровство, сами посудите, зачем, когда все, что надо, тебе принесут, да еще умолять будут, чтобы взял?

Не простая братчина пир почестный, не посиделки. Тут одною ссыпью бражною под пиво мужицкое немудрящее не отделаться. Ломились от снеди столы. Рубленные большими кусами истекали жирным соком мяса дикие и домашние. И бычок, зажаренный целиком и разделанный заговоренным топором лично Обережником. И косульи седла, томленные с травами пахучими в ямах под алыми углями. И дикая свинья. Окорока оленьи, медвежьи, лосиные вареные и копченые. Саженные окские осетры. Уха стерляжья. Лещи печеные. Боровики в сметане. Птица разная боровая и домашняя. Каши всякие, пироги и хлеба, и расстегаи с рыбою, и овощи, а уж пития, пития, веселись, душа славянская, вволю. Тут тебе и корчаги с медом цельным и ставленным, и ушаты с брагою, с пивом, квасами и медовухами, и зелено-вино травное пахучее настойное.

Суетится народ вокруг столов, а слы княжие пока в бане. Парить их повел лично Облагодонитель с целою дружиною хранильников. Парить под квасок хлебный, под настой мятный, под пиво хмельное солодовое с веничным сечением, верчением суставов, мятием мышц руками и растиранием всего тела пареным лыком да медвежьей рукавицей.

К столам размякших слов вели под ручки белые со всем возможным бережением и почетом. Провели на Веселый остров, усадили в прохладе на почестные места перед громадным турьим рогом, окованным серебром. Градские подглядели уже, что за рог вынесли хранильники на пир, какая кошуна будет возглашаться при величании. Оказалось, чтить будут Переплута, бога мира внутриземного, бога-подателя вземных богатств и повелителя растительной жизни. По серебряной оковке устья рога изображалась красивыми чеканами кошуна про клад Переплотов, заклятый богом на двенадцать голов самых, что ни на есть, гой-еси молодцев. И овладеть им можно было только в жертву Переплуту оные головы принеся. Добыл тот клад к вящей славе и пользе для рода своего волховальной прехитрой хитростью пращур вятичей великий князь Вятко. Принес князь в жертву богу двенадцать голов петушиных: уж коли он, петух, не гой-еси – не ходок, то есть, по сладкой женской части, то кто ж тогда? Кто среди всего живущего на матушке-земле имеет гой более крепкий и неутомимый, способный заполнить чрева женские рода своего жизнетворным семенем? И отступились от клада охранники – свирепые крылатые псы Семарглы. И взял Вятко, предок вятических князей все богатства матери сырой Земли, коим владеют по праву и по сей день благодарные потомки его. Со смыслом избрал кошуну для пира волхв Кошунник, хранитель преданий седой старины, хозяин требы – поклонения Всеблагим богомолитвенного.

Загудели рожечники, возвещая начало пира. Поднялся с места волхв Кошунник. Малахай на нем белый с рукавами широкими расшитыми, и оплечья белые же, расшитые чудесными знаками и хитрыми оберегами. Вскинул он руки, призвал на пирующих милость всеблагих небожителей, качнулся над столом вправо, качнулся влево. Нежно запели гусли. Два хранильника, тоже в белых расшитых одеяниях, подняли над головами тяжелый, наполненный пьянящей влагой турий рог. И низко, так, что мороз по коже, вступил голос Кошунника, славящий всеблагого бога Переплута и пращура вятичей великого князя Вятко.

Меж тем, волхв Обережник плеснул из рога в священные костры, отпил глоток сам, с поклоном передал княжичу. Брючеслав поднялся с места, принял тяжелый рог и припал к нему губами. Кошунник смолк, только гусли с гудком вели торжественно величальную мелодию. Но вот княжич вернул рог Обережнику, вытер губы и сел на место. Голос Кошунника без видимого

усилия накрыл всех пирующих и на Веселом острове и на Нарском берегу. Хранильники так же над головами поднесли рог второму по значению послу, емцу-даневзымателю. Рог пошел по кругу.

Пóбчестный пир – дело тонкое. Пока костры не прогорят до золы, ни один человек от стола уйти не смеет, дабы честникам обиды не нанести. А тут – такие люди! Хранильники постарались, развели костры – дым коромыслом. Тем кострам полыхать и полыхать, до утра прогорели бы. Вот и пир покатился, разгораясь. Костры – дым коромыслом, и пир – дым коромыслом.

Так уж повелось на пóбчестных пирах, сидеть на верхних местах почетно, желанно и... скучно до сил нет. Там, внизу, веселие и пение и скакание и пляски, а уж хохот – чисто ржание лошадиное. А тут, наверху, степенная беседа. Крепитесь, честные мужи. Ну а о чем говорить мужам, когда все дела обсуждены, новости рассказаны? Известное дело. Кто какого зверя завалил: когти – во! Зубы – во! Рога – во, во и во! Либо о красавицах, про которых тоже – во и во! Либо уж о набегах лихих, сечах злых и молодецком славном оружии. Волхвы люди бывалые, а у старшин родовых и у градских самостоятельных мужей рты пораскрывались – ворона влетит.

– Ты своим византийцем чванишься, будто это не меч, а молодая жена, – под общий хохот говорил воевода Бус тиуну Олтуху. – Лучше скажи, какую отвалил за него цену?

– А сколько было запрошено, – отвечал Олтух заносчиво. – Потому что такого меча ни у кого больше нет во всей славянской земле, ни у нас в Дедославле, ни в Гнездно, ни в самих Новограде и Киеве.

Олтух выдернул меч из ножен и плюхнул его на стол. Посмотреть было на что. Лезо полпяди шириной, длинное, хищное, с синеватым отливом, рукоять рыбьего зуба с золотой вязью, на оголовье крупный самоцвет. А перекрестье меча было с большим искусством выковано в виде двух сцепившихся диковинных зверей.

– Ну, как? – вопрошал Олтух победительно.

– Хорош, – поддразнивая, смеялся Бус, – чтобы на пиру хвастать, лучше и придумать нельзя. Убери, неловко глядеть мужику на такую красоту. Будто баба чужая заголилась.

Пирующие грохнули буйным хохотом, расплескивая брагу и давась едой. Бус продолжал:

– Ну-кося, глянь, какое лезо я сегодня здесь, в граде приобрел. Это, брат, не для пира, это для боя, и в бою сей меч твоих стоит трех.

Меч, выложенный воеводой, видом был грубоватее, на вес явно тяжелее, однако опытные бояры сразу вцепились в него и, удивленно цокая, передавали друг другу, пробуя лезо на ноготь и особенно внимательно почему-то разглядывая рукоять.

– Дядя, – вмешался княжич, – скажи, что это у него скрестье дугой к лезу оттянуто? Непонятно. Ты – объясни.

– Э-э, Брячко, тут мудрейшая волшебная хитрость, – веско сказал Бус. – Как я сам до того не додумался? Попробуй-ко повертеть им над головой... А теперь представь, что с коня рубишь, или сбоку. Видишь, как ловко. И рубить способно, и вражье лезо никогда на руку твою не соскользнет. Эй, Олтух, стукнуться мечами не желаешь, чей крепче? Ну и правильно, что не желаешь. Я своим, когда приценялся, вяз в руку толщиной чистенько-так-это срезал. Походя. А лезу хоть бы хрен по деревне, даже не притупилось, можно бороду брить.

– Может, дань с сего Погоста лезами брать? – задумчиво спросил емец. – А? Что скажешь, воевода? Вместо зерна. Зерно у них так себе. Мед хорош, воск, шкуры бобровые и иные очень хороши, а зерно – тьфу, барахло зерно, не в обиду хозяевам будь сказано.

– Э-э, а-а, кхе-кхе... – вмешался, в затылке чеша, градский воевода Радимир, – тут ведь, м-м-м, я не кузнец, конечно... А ну-ка, живо, зови сюда кузнецкого волшебника, – шепнул он ближнему хранильнику. – Вы вот что, бояры, нашей ли работы лезо? У нас, вроде, так не куют.

К спорщикам чуть ли не вприпрыжку спешил Сварожник. Владыка огня и повелитель мудрейшей кузнечной хитрости был во всей волости лицом легендарным и почитаемым со страхом и трепетом, а вот, поди ж ты, спешил, как мальчишка. Он принял меч в задубелые

ладони с такой нежностью и осторожностью, будто дитя малое новорожденное, осмотрел со всем тщанием и сказал:

– Откель у вас меч, бояры? Лезо слоеное, ковано в семь полос разной твердости. Отменная работа. Делали когда-то в наших краях такие, но как сгорел болотный Погост... кхе-кхе... – Сварожник метнул на послов осторожный взгляд, – с тех пор не умеют у нас варить такой оцел, сталь, по-вашему. Сковать мы можем не хуже, да где оцел взять? Не наш меч, и рукояти мы такие не делаем, наши длиннее, и скрестье мы кладем прямое.

– Значит, не ваше лезо? – вкрадчиво спросил Олтух.

– Нет, – сказал кузнец с сожалением и возвратил меч хозяину.

– Так что ж ты нам головы морочишь, Бус, – радостно завопил тиун, – меч-то у тебя, выходит, заморский! Как же ты, знаток, сего обмана не распознал?

– Какой заморский, – рассердился Бус, – вон пень торчит от вяза, а вон мужик сидит, что мне меч продал. Вон внизу за столом мед глушит. А ну, тащите его сюда, сейчас узнаем, кто кого морочит.

Деяду проводили к верхнему столу честью. Усадили против воеводы, расчистили на столе место, дали испить зеленого.

– А скажи-ка ты нам, добрый человек, – сказал Бус, глядя на него испытательно, – не ты ли продал мне сей меч?

Деядта удивился, оглядел уставившихся на него собеседников.

– А то кто же? Ты что, воевода, запамятовал? Я и продал. Ты еще вяз на берегу срубил. И цену дал хорошую, справедливую.

– А почему кузнец говорит, что работан меч не на вашем погосте?

– Получается, что так, – согласился Деядта, мельком глянув на Сварожника, – только ты не сомневайся, меч хороший, в бою не подведет.

– Ничего не понимаю, – рассердился вдруг емец, – толком объяснить можешь? Ты, данник, расселся тут за верхним столом, непочтителен, говоришь дерзко, как равный. Уж не ты ли сам его, скажешь, ковал?

– А что тут такого? – и того пуще удивился Деядта. – Ну, сижу. Ну, ковал.

– Ври-ври, да не завирайся, лапотник, – сказал емец презрительно.

Деядта вскочил. На плечах его тут же повисли хранильники, уговаривая, засуетились-захлопотали волхвы. Тиун охватил емца поперек тела руками и шипел что-то в ухо, не давая встать с места. Бояры и старшина, внезапно протрезвев, настороженно глядели друг на друга.

– Успокойтесь, успокойтесь, я сказал! – громко стукнув по столу ладонью, выкрикнул воевода. И вдруг весело прыснул, – Ишь ты, горячка, не любишь бесчестья.

– Не знаю, воевода, может, у вас в стольном граде Дедославле привыкли враки говорить и слушать, а мы у себя в Понизовье бездельных речей говорить и слушать не хотим!

– Думай, что говоришь, – вскинулся княжич, но Бус остановил его, накрывши ему руку ладонью.

– Угомонись, – увещевательно сказал воевода Деядте, – ну... утихни, обидеть тебя никто не хотел. Верно? – обернулся он к емцу.

– Может мне перед каждым смердом – данником на коленки вставать, извиняючись? – сварливо пробурчал емец.

– Он не смерд. Он старшина рода своего, – сказал Бус, лицо у воеводы было непроницаемое, глаза строгие. Тиун снова подsunулся к уху емца и сказал тихонько:

– Здесь край земли, дорогой, так-то. Снимется с родом своим, ищи-свищи его в этих лесах. Всех людей разгонишь, на ком полюдь станешь собрать?

– Ну, горячка, что там такое с этим мечом? – продолжал Бус благодушно. – Да отпустите же вы его, что вцепились?

Дедеята стряхнул с себя руки хранильников, сел на место, отдуваясь, огладил усы.

– Я его сковал, вроде бы, как в оплату за свою работу.

– Не понял, – удивился княжич.

– Ты погоди, сестрич, ты ему не мешай, – перебил княжича воевода, – рассказывай, рассказывай, добрый человек.

Однако то ли Дедеята от ссоры никак не мог отойти, то ли смущался от непривычного внимания, только рассказ у него получался сбивчивый и невнятный.

– Постройки у ней дубовые, значит так, тем постройкам стоять и стоять, и хоть великая она волхвевница, только работа эта не по бабе, тем более, для старухи... – Дедеята умолк, развел руками.

– Ничего-ничего, все понятно, ты продолжай, – терпеливствовал Бус, – она это кто?

– А Потвора, со старого болотного Погоста ведьма.

– Ага, – сказал Бус, проявляя чудеса сообразительности, – ты, стало быть, ей венцы в срубе менял? Нижние бревна?

Дедеята радостно закивал головой.

– Ну да, понятно, а она тебе в награду за службу сковала меч?

– Нет-нет, не она. Я сам, но по ее словам. А вот оцел, точно, бабуля и варила.

– Про скрестье, к лезу гнущее, тоже подсказала она?

– Она.

– Ну вот, все понятно, – сказал Бус увещевательно. – Вот только как же она тебе про него объяснила и убедила?

– И смех, и грех, – сказал Дедеята, покрутив головою с веселием. – Погляди, говорит, рукоять какова у бабьих у бельевых вальков, видишь, говорит, как тем вальком по мужниной спине колотить способно.

За столом заржали взахлеб. Тиун, сделав понимающее лицо, спросил ехидно, радуясь случаю переменить разговор:

– Не та ли это Потвора, что кобенилась на градской площади про наше полюдьё?

Волхвы скривились, как от кислого, а Дедеята поугрюмел и сказал, что ничего такого не знает, ни о чем таком не слыхивал, а уж не видел и подавно. Тиун прицепился было к Бобичу, но емец перебил его.

– Ладно, ладно, – сказал он, – мы все поняли. Не поняли только, как это так получилось, что Погост оцел варить не умеет, а ведьма с замшелого родового капища заброшенного умеет?

Волхвы угрюмо молчали, емец же продолжал безжалостно:

– Вернемся в Дедославль, доложим князю, а там уж – как он решит. Может, и выйдет вашей волости великое послабление с зерновой данью... в обмен на леза. А на чем вы с бабушкой болотной поладите, это ни нас, ни, тем более, князя-батюшки не касается. Так что глядите в оба, кабы с той с болотной кикиморой какого худа не случилось бы.

– Что с ней худого может приключиться? – удивился Дедеята.

– Мало ли, – сказал емец и покосился на новопогостовых волхвов со значением.

– Кто ж к ней решится с худой мыслью подойти? – Дедеята даже захохотал от нелепости предположенного. – Такому чудачу сама Завида-Ненавида не позавидовала бы.

В Дедеяту влили еще полковша зеленого травного и с миром проводили вниз. Кошунник возгласил здравицу в честь тиуна. Олтух испил меду, но, паче чаяния, не угомонился и, не успевши опустить зад на скамью, снова прицепился к Облакогонителю.

– Сильна бабуля? – сказал и подмигнул, осклабясь.

Волхв пожевал губами, поглядел на небо, на реку, и ответил с хмуростью:

– Слухи ходят разные. Об идоле родовом четырехликом поговаривают, что ею-де, жабой бородавчатой спрятан для всякого непокорства и поношения от князя поставленных властей. Ну а коли так, коли это правда, то от того идола... сам понимаешь...

– Не любишь ее, – засмеялся тиун, – занозой в задку сидит?

– А что мне ее любить? Не красавица-чай, которую для радостных удовольствий под ракушечными кустиками старательно оглаживают. Карга вонючая, и видом гнусна.

Кругом ржали и звенели чашами. Тиун же продолжал терзать волхва, прицепился, что твой репей.

– Ну и здоров же ты мерину хвоста крутить. Уж и идола приплел, не заикнулся. Бедная бабуля, небось, ни сном, ни духом, а ты и рад валить с больной головы на здоровую.

– С больной на здоровую?.. Ну, знаешь! – чуть ли не в полный голос завопил Бобич. – Где только у вас, у столичных, глаза? Ладно еще, когда Погост в Ростовце был или в Кудинове, но тут-то, у старого болотного под боком? Слепые вы там все, или почему? Если уж она четырехликому треба кладет не скрываясь... А где того идола прячет, дознаться нельзя. Сколько раз пытались выследить, к капищу болотному подкрадывались, так нет же, всегда ждет и встречает на пороге всенепременно хлебом-солью. Пожалуйте-де, гости дорогие... а хлеб для того дела держит черствый, как камень. И вот что я тебе еще скажу. Ты тут – "бабуля, бабуля", а особа эта злоехидная богиню низшую Макошь, что по земле мыкается, небожителей об урожае униженно умоляет, так вот, она эту самую Макошь именует Мокошью, владычицей влаги и жизни и матерью богов, а она есть Макошь, что означает мать кошелки, и Мокошью ее звать есть непорядок, бабство и потрясение основ.

– Макошь, там, или Мокошь, это не нашего ума дело, это ты с верховным столичным волхвом, с Любомиром разбирайся, а хвост мне крутить не надо, я тебе не мерин, не один четырехликий пропал со старого Погоста. Было там еще кое-что, и в немалом количестве. Кто прятал, куда прятал, это еще надо внимательно посмотреть. Наводишь тут тень на плетень, стараешься, думаешь, в столице сплошь дураки сидят?.. А против бабки вы тут все слабаки, смерды здешние вам прямо в глаза про это правду-матку колют. В Дедославле не то чтобы Любомир, хранильничек простой такой порухи своей чести не потерпел бы.

У Бобича на лбу вздулись жилы, глаза стали белые, и в тех глазах у него запрыгали сумасшедшинки.

– Были, были такие нетерпеливые, – зашипел он в глаза Олтуху, – и как раз почему-то возле столицы. Наезжали на болотных бабушек. Поспрошай, когда вернешься, что из этого из всего вышло, а я подскажу у кого. Есть у вас при княжьей варяжской дружине старикашка один безносый...

– Что-что-что? – насторожился Олтух. – Как-как-как?

Костры горели. И катился под высокой крепостной горой над чистою светлою Нарой разгульный почестный пир.

Веселись, душа славянская, ибо веселие Руси есть питие, не можем без того жить!

5

Дань, как известно, счет любит. И учет. И порядок. Емец подручных своих разослал принимать и укладывать в расшивы воск, лен, мед, пеньку, засыпать хлеб и всяческую ссыпь прочую, а сам уселся за стол неподалеку от первого корабля. Подручные расстелили на песке рогожи, положили кожаные мешки, растопили воск, смешанный с мелом и сажей, чтобы те мешки запечатывать. Колдун пристроился рядом. Дело предстояло наиважное.

Хранильники приносили и раскладывали на рогожах звериные шкуры. Вообще-то Погосту из мягкой рухляди полагалось сдавать бобра, хорош местный бобер, нету лучше: телом крупен, ость с серебром, подшерсток густ, черен. Красавец. И цена на него высока на любых торгах. Однако и другие меха у вятичей хороши. И белка. И куница. И выхухоль. И рысь. И лиса. А соболь, зверь чудный? Такие шкурки на сорок сороков не считают. И в самый Царьград те меха везти не стыдно, а весьма даже прибыльно.

Для счета у емца палка с длинными веревочками, навязанными в ряд. Первая веревочка – соболь, вторая – бобер, для каждого зверя своя. Наберется шкурок отборных дюжина, вяжет емец на веревочке для памяти узелок, а гриди-помощники набьют кожаный мешок, затянут ремешком сыромятным, зальют печатным воском, койй сверху припечатает емец личной печатью. Здесь он принимает, а в столице ему сдавать. Считает емец, а сам нет-нет, да и посмотрит на другой берег Серпейки, где градские мужики наращивают борта расшивы под зерно. Три расшивы готовы, одна осталась. Каждая лодья за собой будет расшиву тянуть.

Сюда, на левый берег Серпейки не пускают посторонних, и даже поставлен Бусом гридя для этого дела у наплавного моста в сторожа. С самого утра был Бус в хлопотах, и всюду таскал он за собою скучного княжича, видом его нерадивым недоволен будучи крайне.

– Смотри, учись, – говорил он княжичу, – полюдьё дело наиважное, вся власть княжеская им держится.

Княжич зевал, вяло соглашался, глаза имел сонные.

– Ты за емцем смотри, – растолковывал Бус. – Он молодец, умница, человек такой не народился, чтобы сумел его обдурить. А ты, чтоб провалиться мне на этом самом месте под землю в царство кощное, как шпынь похмельный забубенный зеваешь и чешешься, тьфу. Тебе бы только с гридями безусыми ножом в тычку играть или девкам подолы обдирать, ночами незнамо где болтаясь. Ты слушай, ты вникай. Будь ты, как тебе положено, самостоятельный муж, а не малое дитя неразумное, я бы сейчас оставил тебя при емце и пошел бы эту самую Потвору проведать и все про ее особенный оцел и про меч удивительный разузнать. Ну да ладно. До другого раза.

Бус наладился торопить мужиков с расшивой, а сторожевой гридя поглядел вслед с безнадёжной скукой и зевнул – за ушами затрещало. Саженого роста парень, бездельно ему тут до сил нет, вот и зевает во весь рот. Сами посудите, добрые люди, кто разумный попрется на левобережье среди бела дня, дел, что ли, у градских нету своих? Вот и скислился он рожей, как от горсти клюквы. Но молодец хорош, однако. И гой еси даже очень – бабья сладость, можно сказать... А на той стороне бабы градские, молодухи и девки опять же готовят почестный пир. Не поскупился Бус и от имени княжича заплатил, щедрее некуда. Пир-то отвальный. Заприметили, видно, девки молодца. То одна, то другая, а то и стайкой подлетают к Серпейскому берегу. Будто бы дело у них. А сами на молодца зырк-позырк глазищами, и улыбаются, и изгибаются, и пересмеиваются – вроде бы между собой.

Гриде, однако же, развлечение. Приосанился, подкрутил льняной ус и грудь выпятил – хоть ставь на нее сверху ведро с водой, ни капли не прольется. А после отцепил от пояса пару телепней и пошел, и пошел телепаться, красоваться боевою выучкой.

Телепни у молодца приметные. Два шара с детскую голову из корня вяза с железными нашлепками подвешены на тонких длинных сыромятных ремнях. И-и-эх, раскрутил молодец шары. Летают округ со свистом то низко, медленными кругами по-над самой землей, то быстро-быстро над головой, то попеременно один быстро, другой медленно, то накрест, то внаклон, как меч и топор при рубке. Подтянет молодец телепень, вращая, к самой руке, да как разом ремень выпустит – стрелы быстрее вылетает шар перед молодецком. Никакой доспех против такого удара не устоит, ай-да славно, ай-да радостно. Радушша, дочка Ослябина, который Осляба есть главный градский воротник, так вот она как стояла в реке с ведром, так не то что про воду, про подол держать забыла. Замочила плахту красавица, а ведь фу-ты, ну-ты, недотрога – близко не подходи, ото всех парней лицо воротит. И Леля тоже тут как тут. Другую взрослые девушки давно уже турнули бы вверх тормашками, не трись возле старших. А с нею не связываются. Не то, чтобы страшно, а все-таки как-то боязно, она тебе турнет... ну ее к лешему. Не замечают вроде.

У моста тут же появились и градские парни. Из тех, что снаряжали расшиву под зерно. Как с топорами были, так с топорами и прибежали. Заволновались, однако. Гридя поглядел на парней, растопырился насмешливо, ощерился в улыбке. И-эх, того пуще заиграл телепнями. Знайте, мол, наших! От людей подошли, посмеиваясь, сколько-то гридей и даже пара-другая боярбв из емцева ближнего окружения. Рада выбралась из воды, крутанула мокрым подолом и на парней посмотрела жалостно, куда, дескать, вам, недотепам, шли бы, мол, отсюда, не сра-мились.

Парни, однако, вызов приняли. Вперед вышел Десятин сестрич – младшей сестры сын, Тумаш. Подбоченясь, выставил сестрич Десятин ногу и... эх, закрутил-завертел топором в руке, вокруг локтя, сзади, спереди. Кто-то из парней кинул ему второй. Тумаш заиграл уже в два топора, да с перекидом из руки в руку, да из-под ног, да с пристуком в обуха. Парни стали приплескивать в ладоши. А гридя вдруг извернулся, выбросил разом оба телепня к мосту, да так ловко, что поручни того моста, выбитые телепнями с шипов, полетели, трепыхаясь в воздухе нелепо, прямо в Тумаша. На берегу ахнули. Однако же Тумаш шагнул, примериваясь, вперед, взмахнул топорами да и поймал те жердины на лезвия, как припечатал. Ай-да молодцы! Ай-да удалцы! Что один, что другой. Берега восхищенно плескали в ладоши.

– Эй, ты, – позвал гридя Тумаша, – ну-кося, поди сюда. Не взопрел, тудясь? Искупаться не хошь?

– Не-а, – сказал Тумаш с ленцой в голосе. – А ты?

– Чего-о? – гридя от изумления аж рот открыл.

– Ну, я спрашиваю, ты, может, хочешь? А то я пособлю. С милой душой, – сказал Тумаш и подмигнул своим, знай, мол, наших и ты. Парни радостно заржали, а кто-то, не сдержавши восторга, засвистел в два пальца на всю реку – суший Соловей-разбойник, право слово.

Сошлись на середине моста. Каждый выставил левую ногу. Правыми руками сцепились плотно, ладонь в ладонь, левые убрали за спину. На берегах уже никто делом не занимался, все глазели на нечаянное развлечение. Даже Бус с княжичем поспешили от расшив к мосту. Один только емец возился у стола с очередным мешком в обществе престарелого Колдуна.

Берега надсаживались в оре, подбадривали своего. "Буслай, Буслай", – ревели гриди. "Тума-аш", – надрывались градские. Парни пыхтели, наливались краской. То один, то другой начинал, вроде бы, осиливать, но равновесие неизменно восстанавливалось, и все тут. Наконец, обессилев, парни расцепили руки, в опасении подвоха сделали каждый по небольшому шажку назад и принялись беззлобно переругиваться. В общем-то, оба остались довольны. Ни один не оплошал. Градские притащили поручни и мигом насадили их на место. Тумаш засунул топор за пояс. Буслай, убравши телепни, снова стал у моста и на те поручни с ленцой облокотился. Толпа начала понемногу рассеиваться. Тумаш, купаясь в славе и поклонении, горделиво зашагал к расшиве, одна рука на топоре, другая кулаком в бок, и носочки лаптей эдак молодецки, с

пришлепом, откидывал он в стороны при каждом шаге. И тут чуть ли не на весь берег раздался недовольный голос княжича:

– Что ты меня все куда-то в сторону тащишь? Для каких-таких тайных разговоров?

6

Это было неожиданно, поразительно, поучительно и вообще леший знает, что такое, Олтух только головой качал в изумлении. Старый болотный родовой Погост и в самом деле не только не прятался, но, напротив того, весь был на виду, неужто так и бытовал все годы под боком у Погоста княжеского? А в стольном граде, ай-мудрецы, ай-умники, полагали Погост Новый у болотного в полноценных восприемниках. Потому и дергали с места на место, что усматривали в нем, в Новом, тайное родовое непокорство и злостное самомышление. И идола полагали с умыслом спрятанным, и серебро. Потому и волхвов сюда слали из столицы, местным не доверяя.

Дорога к капищу была нахоженная. По топким местам проложены гати, поверх гатей настилы свежие старательные. Топей же здесь, в верховьях Серпейки много множество. Бобровая Лужа. Междуречье меж Серпейкой, Нарой и Окой с бесчисленными речками, речушками, ручьями, и все те речки и ручьи сплошь перегорожены бобровыми плотинами, отчего вода залила все, что можно, и что нельзя тоже залила. Настоящее бобровое царство, вглубь которого пути знали только матерые бобровники.

Да, ухоженная была дорога. Иные настилы имели даже и поручни. А с приближением к капищу увидал Тиун некое дивное диво: торчит над ручейком прямо из бугра труба, из той трубы сочится вода, а прямо над трубой, как видно – для бережения от непогоды, сложена двухскатная кровелька, обсаженная дерном. Олтух не поленился рассмотреть, принялся, пить воду нельзя, тухлая вода, труба же долблена из двух бревен, прилажены бревна друг к другу чисто, в зуб, сверху труба обмазана глиной и обернута берестой.

Был Олтух весь в мыслях, но к неожиданностям всяким готов, когда окликнули его сзади, обернулся без испуга, покойно, будто так и надо, будто и не удивительно, что на узком настиле меж трясиных болотных ям, том самом настиле, кой он ну вот только что собственными сапогами протоптал, стояла невесть откуда взявшаяся старушонка с высокой двурою клюкой и смотрела на него на удивление ясными улыбчивыми глазами.

– Кого ищешь, милый?

– Коли ты Потвора, то тебя.

Росту бабуля была среднего, чуть полная, одета чисто, но безвычурно, и вышивка бережная на ней простая, всем понятная: Рожаницы – всеблагая Макошь с Берегинями, с дочерью своей Ладою и внучкой Лелей. Чтобы знаки какие хитроумные, или еще что, ни-ни, ничего лишнего. Бабуля тоже разглядывала встречничка, была она с виду проста, приветлива, однако же сразу видно опытному глазу, что ушибиться об нее можно запросто, и ходить возле старушечки надобно с бережением. На такую не гаркнешь: "А ну-кося, признавайся, где у тебя спрятано родовое серебро, где идол четырехликий?.. говори, для какого такого воровства противу пресветлого князя-батюшки ты все это прятать затеяла?" Бабуля же, рассмотрением удовлетворясь, поклонилась и сказала:

– Ну что же, гость дорогой нечаянный, идем в дом, побеседуем, там и изложишь дело, тебя ко мне приведшее.

Шел тиун в некоем непривычном ему смущении, отсрочке разговора был, пожалуй, даже рад, как его, разговор, начинать, ежели не ясна тебе твоего собеседника корысть? Отчего серебро прячет, это еще можно понять, хотя есть это родовая темнота и дикость, что с него толку, со спрятанного, ну а уж идол-то ей, старой, зачем? Неужто и вправду силу дает?

Жилище у бабушки оказалось ей под стать. Не какая-там полуземлянка, что у смердов в роду вятичей в обычае, нет, срубище наземный здоровенный из здоровенных же лесин, в столице из таких лишь главная княжьей усадьбы башня-вежа сложена. В отдалении стоит сенник, амбар, хлев, еще какие-то строения, и не то что ограды, частокола простенького, нав-

тык в землю врытого, и оттого называемого у вятичей "вор", вокруг ее усадьбы в помине нет. Смело живет бабуля, вольготно. Ночной порой вором к тебе лазающих охотников до чужого добра, как видно, не боится. Старое присловье: "гость званный в воротах встречанный, пролезшего вором встречают топором", как видно, не про нее. Тут не только вора-чостокола, плетня какого захудалого нету. Но всего удивительней была крыша ведьминога жилья. Слажена та крыша высоченным и красивейшим четырехскатным шатром, кои ставятся над жертвенниками на Погостах, а если над постройками, так лишь над наиглавными. Неужто у нее внутри и жертвенник налажен?

Старуха, приглашая, отвалила дверь. Олтух вошел, махнул в красный угол поклон домовому, с любопытством огляделся. Прямо против входа сложена была большая прямоугольная печь устьем к двери. Сверху в печь был вмазан большой котел, в котором, судя по духу, булькало что-то травное. Слева за печью вглубь жилья уходили, теряясь в полутьме, полати, срубленные ящиком. Сено в том ящике было прикрыто медвежьей шкурой. Справа от входа стоял стол, у стола лавки не земляные, досчатые, а вот дальше, прямо под волоковым окошком, через которое выходил из дома дым, поставлен был – ну и дела! – здоровенный пень, жертвенник-колода, неременная всякого капища принадлежность, а ведь приближаться к такому жертвеннику и требы творить в угоду всеблагим мог только сам Колдун. Да, не занозой, стрелой в бок сидела старая Потвора у Высоцкого у Нового Погоста.

Потвора оставила дверь отваленной для света. Слила гостью воды на руки, напоила медовухой, дала преломить хлеб. Усадила его против двери и села сама спиной к свету, положив на стол нагруженные руки.

– Ну, милый, ты судья княжеский и советник и мудрая голова, но не бояр, не воевода. Что тебе за дело до боевых мечей?

Олтух поглядел на ведьму хмуро: как-де ее речи принимать? Не за насмешку ли? Села она, вредная старушонка, как он понимал, спиной к свету нарочно, да просчиталась, однако, рожу ее скверную видел тиун претотлично, откуда ей, в самом деле, знать, что глаза у него – о-го-го какие глаза, молодой любой может позавидовать.

– Вижу, до меча тебе дела нет, – сказала бабка несколько озадаченно, – ну так и с чем же ты, милый, ко мне, древней старухе, пожаловал?

Тиун огладил бороду, поглядел на ведьму. Рожа ее была непроницаемая, сидела истукан-истуканом, глазами буравила. Тиун притворливо вздохнул.

– Да вот... как быть, не знаю. Дошли до меня слухи всякие об варяжьем об давнем на сей Погост находке, а приеду в Дедославль, сказывать стану, так ведь засмеют...

– А от меня чего хочешь? – спросила бабуля и явственно хихикнула.

– Удостовериться хотелось бы. Мне и самому не верится. Ладно – варяги, но серебро?

– И что серебро? – удивилась Потвора.

– Ну как же, – пояснил тиун, – его надо было назад, сюда притащить. И все за одну ночь.

– Зачем? Уж серебро-то можно до поры и в лесах спрятать.

– Положим, – не сдавался тиун, – положим, все так. А идол? Его уж утром после налета во рву не было. Стало быть, сперва идола припрятали, а уж после вдогон за находниками пошли. Или я не прав и слова мои глупые?

– По-видимости, не глупые.

– И как же все это успеть? Сколько в нем, в идоле, пудов, знаешь? Хотя, что это я, кому ж еще и знать, как не тебе?

– И эта задачка детская. Внучка придет, спроси у нее, как тяжелое бревно или чушку каменную из ямы вынуть и в другое место перенести, да чтобы споро и не корячась. Она тебе и объяснит. Всего и дела-то, тьфу.

– Может, и варягов перебить тоже – тьфу?

– Ну, зачем же? – удивилась Потвора. – Варяги мужи серьезные. Сила. Всем боярам бояр. Но ты умный, тиуны дураками не бывают, и потому знаешь, конечно, что не тот самый сильный, кто мышцей сильнее, а тот, кто чужую слабость знает, а свою не объявляет. Не знают варяги леса.

Олтух потер руки удовлетворенно и сказал судейским противным голосом, на Потвору глядя уличительно:

– Ага! Признаешься, стало быть! Вы с бабкою да с матерью твоей варягов перебили!

– Разве я такое говорила? – удивилась Потвора. – Мы с тобой просто рассуждаем. Умозрительно и вообще. И я так понимаю, что нам обоим – ни мне, волхве, ни тебе, князьему доверенному слуге, до судьбы тех ладожских разбойников, что люто безобразничали на землях великого князя всея вятической земли, дела никакого нет.

Олтух в смущении отвел глаза, помекал, похекал, откашливаясь, покрутил головой и в темени почесал. Скользящая бабуля. Что твой налим. Голой рукою не ухватишь.

– Дух у тебя в жилье травный, – сообщил он. – Такой сильный дух, аж голова идет кругом. И еще я думаю, ну, хорошо, ну, допустим, ну, перебили, вынули изо рта идола и спрятали, я не спрашиваю зачем, я спрашиваю куда?

– Мало ли? Лес велик. Было бы, что прятать, а духу травному как у ведьмы не быть?

– Да уж. Навар один чего стоит, а уж засушила добра! От травника дух за версту, да и в жилье над головой травы сплошняком висят, и на стенах, и вон, гляжу, под полатями козлы приспособлены под всякое коренье, а идола прятать в лесу, так это навряд, это надо быть круглым дураком, в лесу тебе не прослужишь, какие в лесу тебе, и выслеживать тебя не потребуется, сама тропу пробьешь. И вот еще я замечаю, злобу тут на тебя кое-кто имеет лютую, но что удивительно, при всей той злобе не горела ты ни разу.

Думаешь, идола сжечь боятся? – усмехнулась Потвора. – Оно так, идола сжечь боязно, но ведь и с Потворою связываться охотников не так уж, чтобы было много. А глаза у тебя хороши, мне бы такие, даже козлы с кореньями в эдакой темени углядел. Внимательный.

Олтух крякнул и цапнул себя за бороду в смущении.

Ну что, милый, кончились твои ко мне дела? Тогда давай обсудим мои. Пришел ты тайно, не с добром, вынюхать пришел и донести. Как уходить думаешь?

Глаза у ведьмы горели, как угли, взгляда от тех ее колдовских глаз оторвать было невозможно, а лицо ее оскаленное стало неким непостижимым образом вдруг к нему придвигаться и расти, и в том ее лице явственно проступили черты зверя хищного кровожадного. Олтух хотел ухватиться за меч, но руки его не послушались, лежали себе на столе, будто чужие. Внутри у Олтуха все затряслось мелкой дрожью, тело покрылось холодным липким потом, разум зато пило ужасом. Но тут, на счастье его, Потвора вдруг насторожилась, зачерствела лицом и прислушалась. Взгляд ее ушел в сторону. Путы, сжимавшие тиуна, пропали. Он испуганно проследил ведьмин настороженный взгляд, всеблагие небожители, вот уж влип, так влип, кой леший дернул его в это дело ввязаться – откуда-то из-под полатей, нет, из-под пола, из глубины земли раздавались приглушенно утробные звуки, будто возился, вздыхая и чавкая, некто огромный, сырой и тяжкий. У Олтуха остатки волос встали дыбом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.